

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ

МОСКВА
1939

А. П. Чехов

БИОГРАФИЯ

А. ДЕРМАН



ПРОИСХОЖДЕНИЕ. СЕМЬЯ

«...Как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески и есть даже «Трактир Расия»; улицы пустынные... всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим — все это тут воочию так противно, что мне Москва со своей грязью и сыпными тифами кажется симпатичной...».

Этот суровый и безглаголивый отзыв о Таганроге находится в письме Чехова к сестре, написанном в 1887 году. А десять лет спустя, в повести «Моя жизнь», Чехов еще более мрачными красками изобразил Таганрог и его обывателей. «Я не понимал, — говорит герой повести, — для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей... И как жили эти люди, стыдно сказать!.. библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями... Ели не вкусно, пили нездоровую воду... Во всем городе я не знал ни одного честного человека... В городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вослед: — «Благодарить надо!» — и проситель воз-

вращался, чтобы дать 30—40 копеек... лавочники... поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума».

В этом-то неприглядном городе и увидел свет будущий великий писатель. В сохранившейся метрической книге соборной Успенской церкви города Таганрога значится: «Тысяча восемьсот шестидесятого года, месяца генваря, 17 дня рожден, а 27 крещен Антоний. Родители его, таганрогский третьей гильдии купец Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания. Восприемники были: таганрогский купеческий брат Спиридон Федорович Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Кирикова Сафьянопуло жена...» и т. д.

Эта казенная церковная запись сразу характеризует ближайшее окружение Чехова в годы его детства. Все упомянутые в ней лица, как мы видим, принадлежат к купеческому званию, однако не очень «высокого» разбору, — третьей гильдии, попросту — мелкие торговцы. Это тот слой городского населения, который находился на грани между настоящим купечеством и мелким ремесленным людом. Это — город-

ское мещанство. Не случайно также, что в числе восприемников мы находим особу с греческой фамилией, — это тоже бытовая черта Таганрога, где греки составляли значительную часть населения.

Таганрог был по преимуществу город торговли, город больших и малых купцов. Промышленности здесь не было или почти не было. Но необходимо подчеркнуть, что и торговый расцвет Таганрога к моменту появления на свет Антона Павловича Чехова был уже позади. В начале XIX века торговые обороты Таганрога были выше, чем Одессы. Он был первый в этом отношении город на всем Азово-Черноморском побережье. Вскоре, однако, первенство перешло к Одессе. Одной из причин этого послужило постепенное обмеление таганрогского порта при одновременно возраставшем тоннаже торговых судов. Наступило время, когда большие корабли должны были останавливаться далеко на рейде и прибегать к помощи мелких перегрузочных судов. А тут еще провели из Ростова Владикавказскую железную дорогу, — товары, которые прежде шли на Кавказ через таганрогский порт, потекли теперь через Ростов, и он быстро стал возвышаться тоже за счет Таганрога, все более приходящего в упадок. Всего резче, конечно, это отражалось на экономическом положении сословия, непосредственно занятого торговлей.

К этому сословию, к самому низшему его слою, и принадлежал отец будущего писателя, Павел Егорович Чехов. Родом он происходил из крестьян Воронежской губернии, где отец его, дед писателя, Егор Михайлович Чех, был крепостным у помещика Черткова, отца того самого В. Г. Черткова, который известен своей близостью с Л. Н. Толстым.

Надобно заметить, однако, что едва ли этот предок Антона Павловича был обычного типа крепостным крестьянином. Известно, что задолго до отмены крепостного права Егор Михайлович выкупился на волю за крупную по тогдашнему времени сумму в три тысячи пятьсот рублей. Это была плата за себя

и за троих сыновей; была еще у него дочь Александра, но на нее денег не хватило, и Чех обратился к своему помещику с просьбой не продавать дочь на сторону, повременить, пока он накопит денег на ее выкуп. Чертков подумал, махнул рукой и сказал: «Так уж и быть, бери ее в придачу».

Если даже допустить, что Чех отдал помещику решительно все свои сбережения, то и в этом случае ясно, что для накопления суммы в три тысячи пятьсот рублей должны были быть у него какие-то серьезные источники дохода, о существовании которых Черткову было, несомненно, известно: ему бы иначе и в голову не пришло потребовать такую сумму у крестьянина, ковыряющего сохой свою полосу. Всего естественнее предположить, что дед Чехова был специалистом по управлению имениями: дело это требует долгой выучки, а между тем известно, что, откупившись на волю, Егор Михайлович тотчас поступил на должность управляющего громадными имениями графа Платова, расположенными на Дону. Стало быть, к моменту выкупа Чех уже пользовался славой хорошего управителя.

К тому же заключению приводит нас одно высказывание Антона Павловича, сделанное им в 1903 году в письме к жене, в ответ на ее похвалы его характеру: «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч. и проч. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделял чорт знает что. Ведь у меня дедушка по убеждениям был ярый крепостник».

Проявлять себя убежденным крепостником дед Чехова мог лишь по отношению к чужим крестьянам: своих у него не было. Почти несомненно, таким образом, что память о себе, как о крепостнике, он оставил в качестве крупного управителя платовских поместий. Вероятно, это была типичная для тех времен фигура бурмистра из крестьян.

Повидимому, человек он был способный и жесткий в то же время. Сын его Павел Егорович, отец писателя, унасле-

довал от отца и его одаренность, и его жесткость.

Решив пустить этого сына «по торговой части», Егор Михайлович определил его приказчиком к таганрогскому купцу и городскому голове Кобылину. Прослужив у последнего длинный ряд лет, Павел Егорович отошел от хозяина и в 1857 году открыл в Таганроге собственную бакалейную торговлю.

Однако успеха на этом поприще он не имел. Двадцать лет вел Павел Егорович торговлю в своей лавке и за это время не только не разбогател, но, напротив, вконец разорился. И несомненно, что одной из главных причин этого была его недюжинная одаренность. Из мемуарной и художественной литературы (Островский и др.) мы знаем, как жалок был духовный уровень сословия приказчиков в ту пору. А между тем, пройдя только эту школу, Павел Егорович самоучкой достиг того, что приятно играл на скрипке, неплохо писал красками (сохранились иконы его работы), отлично знал церковное пение и умело руководил церковным хором. Все эти искусства, особенно же занятия с хором (производившиеся бесплатно), поглощали и время и внимание Павла Егоровича в большей степени, нежели его торговля, и в последней он делал значительные упущения.

Это был, повидимому, человек разносторонне способный, притом с большой волей и настойчивостью. Но тяжкие, уродливые условия жизни того времени накладывали какое-то клеймо проклятия на самую одаренность человеческую. Артистические склонности Павла Егоровича пошли главным образом по руслу пристрастия к церковному пению, а воля и настойчивость выродились в деспотизм. Младший брат писателя, недавно умерший Михаил Павлович Чехов, вообще говоря, имевший склонность к смягчению картины домашнего быта отцовской семьи, тем не менее писал, что «главную особенность семьи Чеховых составляли пение и домашние богомоления. Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон. Курилась кадильница, отец или

кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки, и после каждого из них все хором пели стихиры и ирмосы. Утром шли к ранней обедне, после которой дома все, также хором, пели акафист». Этого недостаточно: составив из домашних правильный хор, Павел Егорович пел с ним и в церквях, куда его приглашали. Зимой и летом, какая бы ни была погода, какова бы ни была усталость, дети должны были подыматься до света и петь в церкви, дрожа порой от холода, надрывая свои юные организмы. Чтоб не ударить лицом в грязь, не оскандалиться в церкви, Павел Егорович устраивал предварительно частые спевки, которые затягивались порой за полночь... Много лет спустя, в 1892 году, в письме к приятелю, писателю Щеглову, коснувшись воспоминаний о своих детских годах, Антон Павлович, которому выпало на долю петь в хоре отца целых десять лет, от 7- до 16-летнего возраста, писал: «Когда бывало я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

Таким образом, артистизм Павла Егоровича обратился для его семьи в источник страданий. И точно то же произошло с его настойчивостью и твердой волей. Старший его сын и брат Антона Павловича, Александр Чехов, изобразил в своих воспоминаниях отца настоящей грозой для всех домашних. Есть все основания полагать, что он сильно сгустил мрачные краски в нарисованной им картине. Но если даже принять ту версию о Павле Егоровиче, которую сообщает его младший сын, Михаил Чехов, который, как видно по всему, злоупотребляет светлыми красками не в меньшей мере, чем его брат Александр мрачными, то и в этом случае не остается сомнений, что семейный режим Чеховых носил все признаки деспотизма. М. П. Чехов прямо указывает, что это был строгий режим, что к детям применялось телесное наказание и что об их неповиновении воле отца или матери «не могло быть даже и речи».

С самых малых лет сыновья должны были помогать отцу торговать в лавке. Торговля там шла не слишком бойко, и Павел Егорович посылал туда детей не столько для работы, сколько для «хозяйского глаза» — присматривать за двумя «мальчиками», Андриюшкой и Гаврюшкой, которым «влетало» за малейшую провинность.

В большой повести Чехова «Три года» Алексей Лаптев рассказывает жене: «Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору [брату] запрещалось; мы должны были ходить к утрени и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар [в торговлю отца], я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре...».

Несомненно, что эту мрачную картину детства Алексея Лаптева мы не вправе рассматривать как фотографически точный снимок с детства Антона Чехова, но что здесь передан общий дух и характер его детских лет, что самая сосредоточенная горечь этих строк навеяна личными воспоминаниями автора, — в этом также едва ли можно сомневаться. В недавно вышедшей книге воспоминаний приятеля Чехова, известного театрального деятеля В. И. Немировича-Данченко, последний приводит следующие подлинные слова писателя: «Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек». Чехов был очень сдержанный человек, и эти слова в его устах приобретают особенное значение.

Смягчающее влияние вносила в семью мать, Евгения Яковлевна. Родом из

обедневшей купеческой семьи Морозовых, она вышла замуж за Павла Егоровича в очень молодом возрасте и, как и все в семье, подчинялась его авторитету. Но она умела влиять на мужа своим нравственным обаянием, которое она сохранила до самой глубокой старости. Это была очень добрая, правдивая женщина, с нежным характером, с живыми умственными запросами, с большой отзывчивостью. В то время как Павел Егорович приносил в жертву своей тщеславной церковности и здоровью и время детей, Евгения Яковлевна сама жертвовала всем ради детей, нередко отказывая себе в самом необходимом, чтобы досыта их накормить, прилично одеть. Она была убежденная противница крепостного права, все ужасы которого видела еще собственными глазами, и своими рассказами она умела внушить детям отвращение к несправедливости и жалость не только к слабым людям, но даже к животным. Впоследствии, когда дети-Чеховы подросли и обнаружилось, что у двух из них — Антона и Александра — писательский талант, у двух — Николая и Марии — талант к живописи, у Ивана — педагогические способности, Антон Павлович нередко говорил: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».

Благотворна была для детских и юношеских лет будущего писателя тесная дружба детей в семье Чеховых — пяти братьев и сестры. Почти все они были одарены чувством юмора, и те забавы, проказы и шалости, которые они сообщая устраивали, сильно смягчали суровый тон, который на жизнь семьи накладывала тяжелая рука Павла Егоровича. Большой радостью для Антоши и его братьев бывали поездки километров за восемьдесят в деревню Княжую, к деду, управлявшему там имением. Медленная езда, ночевки в степи, жизнь среди природы, участие в полевых работах — все это было ново и свежо после города, сидения в лавочке, церковного хора, однообразных отцовских наставлений... Здесь, в Княжой, Антон был особенно изобретателен на веселые шалости и выходки. Однажды он держал пари с братом Иваном, что на гла-

зах у деда, строжайше запрещавшего внукам снимать фрукты в барском саду, он сорвет яблоко с дерева. Когда дед появился в саду, Антон, поставив брата в назначенном месте, с разбегу перепрыгнул через него и на лету сорвал яблоко. Пораженный ловкостью внука, Егор Михайлович лишь хохотал, посадивая трубку.

ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА. ГИМНАЗИЯ

Первое место среди городского купечества занимали в Таганроге богатые греки-негоцианты — Вальяно, Алфераки и др. Это были люди, составившие себе капиталы быстро, ловкими приемами. В городе многие знали, что такой-то лет двадцать назад явился в Таганрог чуть ли не босиком, такой-то был еще недавно приказчиком. Сейчас они ворочают миллионами. В переживавшем экономический упадок городе, среди сотен обедневших средних и мелких торговцев, эти удачники возвышались, как горы среди равнины, и составляли предмет всеобщей зависти.

Принадлежавший к разряду неуклонно бедневших купцов, Павел Егорович также мечтал о том, чтобы кто-нибудь из его пяти сыновей пошел «по торговой части» и достиг успехов Вальяно или Алфераки. Ему казалось, что на эту роль будет особенно пригоден Антоша, обнаруживший в лавке способность быстро и безошибочно щелкать на счетах. Кстати, кто-то из греков-приятелей, проводивший долгие часы в погребке при лавке Чехова, где торговля вином происходила распивочно и на вынос, посоветовал Павлу Егоровичу отдать достигших школьного возраста детей в таганрогскую греческую школу: это должно было послужить началом их дальнейшей «греческой» карьеры, за которым рисовалось дальнейшее образование, уже в Афинах, и, как достойное увенчание, — коммерческие успехи в стиле Вальяно. Павел Егорович последовал этому совету: в 1867 году семилетний Антоша вместе со старшим братом были отданы в приходскую школу Цареконстантиновской греческой церкви.

Об этом периоде его детской жизни сохранился подробный рассказ Александра Чехова, но он изобилует столь явными преувеличениями, что пользоваться им приходится с большой осторожностью. Несомненно одно: это было совершенно анекдотическое педагогическое учреждение. Состояло оно из пяти классов, помещавшихся в одной комнате. Главой школы был учитель Вучина, человек совершенно невежественный. Телесные наказания имели в школе самое широкое применение. Правой рукой Вучины был некий Спиро, по профессии хлебный маклер. Переход из класса в класс состоял в том, что ученик должен был пересест с парты, находившейся, скажем, во втором ряду, на парту в третьем ряду: это и значило, что он перешел из второго класса в третий. Чаще всего такие перемещения обуславливались не суммой приобретенных учеником знаний, а теснотой в одном ряду парт и простором в другом. Никакого обучения детей в мало-мальски точном значении слова там, разумеется, не было. За время своего пребывания у Вучины Антоша в играх с ребятами научился, впрочем, говорить по-новогречески (впоследствии он совершенно забыл этот язык), а сверх этого — ничего.

Евгения Яковлевна с самого начала стояла за то, чтобы учить детей в гимназии, и в греческую школу они были отданы вопреки ее желанию. Однако, когда по случайному поводу Павел Егорович заподозрил, что дело у Вучины поставлено плохо, и когда, при помощи знакомых греков, он устроил Антоше и Коле экзамен, показавший полное их невежество в каких бы то ни было науках, мнение матери восторжествовало, и Антоша в 1868 году был отдан в подготовительный класс гимназии. Здесь он с первых же дней выказал большую охоту к занятиям и 2 октября 1869 года был принят в первый класс Таганрогской классической гимназии.

В ней Антон Павлович провел десять лет — четвертую часть своей жизни. Восьмилетний курс растянулся на десять лет, потому что в двух классах — в третьем и в пятом — Чехов засиживался по два года.

Уж один тот факт, что юноша такой одаренности, как Чехов, дважды попал в положение «второгодника», свидетельствует о том, что либо школа была плоха, либо ученик отдавал ученью не все время. Ближайшее знакомство с биографическими материалами приводит к заключению, что и то и другое имело место. Участие в церковном хоре и работа в отцовской лавке отнимали у Чехова очень много сил и времени явно во вред его школьным занятиям. Но бесспорно и то, что Таганрогская гимназия сама по себе была весьма жалким учебным заведением.

Как-раз незадолго, всего за два года до поступления в нее Чехова, произошло важное в жизни Таганрогской гимназии событие: в августе 1867 году ее удостоил посещением сам министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, знаменитый создатель той бездушной системы гимназического образования, жертвой которой сделались десятки тысяч молодых людей,—целых два поколения русской молодежи. Зайдя в учительскую, министр, к ужасу своему, увидел на стене портрет Белинского. Тут же, в присутствии всех, он с негодованием накинулся на директора: он не мог даже и помыслить, «чтобы в комнате, где собираются учителя, висел портрет Белинского, этого шалопа, прохвоста, выгнанного из университета». По приказу министра: «убрать Белинского», портрет великого критика был тотчас же снят со стены и выброшен в сарай, «к негодным вещам», как рассказывает об этом инспектор Бобровский, бывший свидетелем этой сцены. Само собой разумеется, что сочинения Белинского, оказавшиеся тут же в книжном шкафу, еще более возмутили министра. Они были тотчас же изъяты. «Мы будем допускать в школе, — заявил при этом гр. Толстой, обращаясь к директору и учителям, — что нам угодно, и учителя и ученики будут воспитывать свои взгляды лишь на тех произведениях, какие мы допустим».

Нужно ли говорить, что в результате такого «внушения», за которым вдобавок последовало перемещение ряда учителей с заменой их «испытанными» пе-

дагогами, Таганрогская гимназия не только наверстала свою «отсталость» от других гимназий в смысле «благонадежности» и борьбы с либеральным духом, но и опередила их. И когда гр. Толстой в 1875 году посетил ту же гимназию, подробно ознакомился с ведением в ней работы, с ее порядками, с преподавательским персоналом, он записал в книге для почетных посетителей: «Осмотревши Таганрогскую гимназию, с удовольствием нашёл, что с 1867 года она сделала значительные успехи».

Воспоминания современников могут объяснить, в чем состояли эти «успехи». Характерно, что, как ни различны авторы воспоминаний,—будь то Филевский, сам учитель той же гимназии, человек весьма умеренных взглядов, или прогрессивный писатель Тан-Богораз, или братья Чеховы, — в главных чертах все они совершенно согласно рисуют Таганрогскую гимназию, как цитадель бездушной казенщины. Разница лишь в тоне и в подробностях.

У Тана подробности обильнее, а тон резче. Он без обиняков заявляет, что: «Таганрогская гимназия, в сущности, представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстермпоралиями (переводами)... Люди чуть повыше этого арестантского уровня отсекались беспощадно». Но разве, по существу, не то ли самое читаем мы у бесстрастного Филевского? «То было время самого строгого школьного режима, время беспощадного господства классицизма. Две или три ошибки в греческом или латинском переводе исключали возможность получить удовлетворительную отметку на экзамене... Даровитых, выдающихся учеников не стало, как сквозь землю провалились. Были вопиющие примеры. Четвертый класс имел 42 ученика, а через два года под прессом древних языков остались только 16».

Проходили десятки лет, а ученики Таганрогской гимназии с неостывающей злостью вспоминали латиниста Урбана, который отравил им юность. Сдержанный Филевский в своем полуофициальном описании говорит об Урбане: «Он

поставил как бы обязанностью отыскивать молодых людей, политически неблагонадежных, и так как он обладал даром понимать ученика, то почти всегда угадывал и преследовал беспощадно». В своем сыщичьем рвении Урбан дошел до того, что послал попечителю донос на педагогический совет: «В заседаниях совета курят, не обращая внимания, что в учительской комнате висит икона и портрет государя». Кончилось тем, что в квартире Урбана, повидимому, кем-то из учеников был произведен взрыв, от которого, впрочем, педагог не пострадал. Он пережил Чехова и дожился до революции 1905 года. Озлобленные гимназисты в классе закидали его камнями. Урбан подбирал эти камни, плакал и говорил, что возьмет их с собою в гроб. Он вышел в отставку и вскоре умер.

Справедливость требует сказать, что Урбан составлял исключение среди учителей, которые в большинстве были не злодеи, не садисты, а полнейшие безличности и «чудаки», та разновидность человеческой природы, которая получалась в дореволюционной российской действительности от недостатка «кислорода» в общественной атмосфере, от отсутствия живых интересов, либо от невозможности удовлетворять эти интересы. Люди задыхались, калечились, уродовались и пополняли ряды ушибленных жизнью обывателей, отводивших душу в чужачестве и юродстве.

Таков, например, был инспектор Воскресенский-Бриллиантов. На уроках он беспрестанно любовался на себя в ручное зеркальце и расчесывал великолепную свою бороду. Отправляясь в театр, он брал в карман орехи и, как сообщает все тот же Филевский, «сидя в партере, клал на пол орехи, раздавливал ударом каблука и кушал. Бывали случаи, когда в самом патетическом месте драмы раздается треск. Это инспектор кушает орехи». Таков был и сменивший Воскресенского-Бриллиантова на посту инспектора Дьяконов, с которого Антон Павлович отчасти и написал своего «Человека в футляре», учителя Беликова. И когда один из героев рассказа «Человек в футляре», тоже учитель гимназии, но человек еще свежий, обращается к своим

коллегам: «Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке», — то, читая эти гневные слова, мы не сомневаемся, что они совершенно точно передают мнение Антона Павловича о школе, в которой прошла вся его юность. Сходство этой школы с арестантским или полицейским учреждением простиралось до того, что двери, выходившие из классов в общий коридор, снабжались стеклянным глазком — круглым отверстием, через которое надзирателю удобно было шпионить за учениками, прогуливаясь во время уроков по коридору.

В виде редкого исключения были среди учителей и люди с живыми интересами, с незачерствевшим сердцем, но всем ходом гимназической жизни они обрекались на пассивность, ибо малейшая попытка внести свет в эту жизнь беспощадно пресекалась. С благодарностью вспоминали таганрогские гимназисты об учителе Старове, добром и глубоко несчастном в личной жизни человеке (с него отчасти Чехов написал своего «Учителя словесности»), о священнике Покровском. Последний был, судя по всему, человек недюжинный, к предмету своего преподавания, «закону божью», питавший полнейшее равнодушие. Он был образован, начитан, на уроках заводил с учениками разговоры о Шекспире, Гете, очень ценил Щедрина. Покровский был любитель шуток, шутливых прозвищ. Чехонте — псевдоним, которым Чехов в течение ряда лет подписывал свои мелкие произведения, — это тоже одно из прозвищ изобретения Покровского.

Кажется, двумя этими фигурами и исчерпываются «светлые лучи» в темном царстве Таганрогской гимназии. Порой среди вновь появлявшихся педагогов попадались люди с живой душой, но их обычно ждала злая судьба. Так случилось, например, с молодым учителем истории Логиновым. Он попытался отступить от ненавистного пресловутого Иловайского, заинтересовал все классы, однако директор Рейтлингер, не злой

человек, но до мозга костей чиновник, решительно пресек эту попытку, после чего Логинов впал в уныние. Он возненавидел гимназию, говорил, что с отворачиванием отворяет дверь в нее. В конце-концов он запил, его разбил паралич, и Логинов умер в больнице.

Такова была Таганрогская гимназия. Какие чувства, какую память она оставляла в своих воспитанниках, мы можем судить по такому характернейшему факту. Братья Чеховы — Александр и Антон — были по складу натуры, по своему вкусу совершенно различные и даже диаметрально противоположные люди. Но то, что они говорят о гимназии, до такой степени сходно, что кажется, будто это написано одним человеком. Антон Павлович в 1887 году, в письме к Григоровичу, говорит о посещающих его ночных кошмарах, во время которых он видит перед собою холодную реку: «Все до бесконечности сурово, уныло и сыро... Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны, своих гимназ. учителей... И в это время весь я проникнут тем тяжелым, кошмарным холодом, какой немислим на яву». И точно так же о ночных кошмарах, наполненных переживаниями гимназических лет, говорит Александр Чехов: «Многие из моих сверстников покинули гимназию с горечью в душе. Мне же лично чуть ли не до 50 лет по ночам снились строгие экзамены, грозные директорские распекаания и придирки учителей. Отрадного дня из гимназической жизни я не знал ни одного». А д-р Шамкович, окончивший гимназию вместе с Антоном Павловичем, сообщает: «Настолько омерзительно было большинство учителей-чиновников, что от обычной совместной фотографической группы абитуриентов было решено отказаться, чтобы не получить на память еще и ненавистные физиономии «футлярщиков». Этот факт красноречивее всего характеризует те чувства, с какими молодые люди покидали школу.

ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Сведения о Чехове-гимназисте гораздо более скудны, чем о гимназии. Что ка-

сается до его успехов, то к сказанному остается добавить немного. Он был усердный ученик, очень редко пропускал уроки, но успеваемость его была не блестящая — в старших классах более высокая, нежели в младших, что всецело, повидимому, объясняется переменой, происшедшей в его домашней обстановке: в 1876 году он из всей семьи остался в Таганроге один, участие в хоре и сиденье в лавочке сами собой прекратились, и хотя в это время Чехов, не получая ничего от родителей, должен был бегать по урокам, чтобы как-нибудь прокормиться, у него все-таки оставалось больше досуга для занятий, чем прежде.

Находясь в четвертом классе, Чехов испросил разрешение у директора заниматься ремеслом при уездном училище и около года обучался портняжеству. Сохранились сведения, что за это время он даже сшил кое-что из платья своим родным, не очень, впрочем, искусно: модные узкие брюки, сшитые им брату Николаю, были настолько уж узки, что едва-едва взошли на ноги, а показавшийся в них на улице Николай Чехов вызвал радостное улюлюканье мальчишек.

На выпускных экзаменах Чехов чувствовал себя, повидимому, не очень уверенно и выдержал их при содействии своих друзей, передававших ученикам готовые латинские и греческие переводы через классного наставника Вукова, с которым Чехов сохранил добрые отношения до конца жизни. Из двадцати трех выпускников Чехов по полученным баллам вышел на одиннадцатое место.

Естественный интерес представляют успехи будущего нашего классика по таким предметам, как русский язык и словесность. Сохранилось его ученическое сочинение «Киргизы». Оно написано замечательно: точным, ясным, сжатым языком. Сделавшись писателем, Чехов долгое время писал хуже, чем написаны «Киргизы».

Обычной оценкой его сочинений в гимназии была отметка «четыре», с колебаниями в сторону тройки и пятерки. На выпускных экзаменах тема для сочинения, присланная, как полагалось, от-

попечителя учебного округа, была: «Нет зла более, чем безначалие». Чеховская работа на эту тему до нас не дошла. Известно только, что сочинение свое он подал последним. Упомянувшийся выше историк Таганрогской гимназии Филевский утверждает, что на окончательном экзамене учитель словесности Стефановский «обратил внимание педагогического совета на необыкновенную литературную отделку и смысл сочинения ученика Антона Чехова». Если это и так, то, повидимому, коллеги Стефановского не разделяли его мнения, или же наряду с достоинствами в сочинении оказались какие-то промахи. Оно оценено обычной для Чехова четверкой.

Какие интересы проявлял Чехов во время обучения в гимназии?

На этот вопрос можно ответить с полной определенностью: театральные и литературные.

Первая пьеса, виденная Чеховым в театре, — оперетта «Прекрасная Елена». Ему в это время было тринадцать лет. С первого же спектакля мальчик горячо полюбил театр и пронес эту любовь через всю жизнь не только во всей силе, но и во всей свежести и наивности чувства. Уже под конец жизни он на волнующие его спектакли реагировал с непосредственностью ребенка.

Можно думать, что положительную роль в этом отношении сыграла довольно значительная высота уровня театрального дела в Таганроге. В этом обедневшем городе были все еще сильны и живы прекрасные театральные традиции прошлого, когда Таганрог гремел, когда его слава привлекала лучших артистов не только из столиц, но даже из-за границы, из Италии. Итальянская опера в Таганроге выступала иногда в течение целого сезона.

Во время прохождения Чеховым гимназического курса в городском театре нередко выступала постоянная хорошая драматическая труппа. Чехов пересмотрел здесь и множество мелодрам, вроде «Убийство Коверлей», «За монастырской стеной», «Хижина дяди Тома» и т. д., но и ряд пьес классического репертуара: «Гамлет», «Ревизор», «Горе от ума». На спектакле «Без вины виноватые»

юноша Чехов до такой степени разволновался, что не мог удержать слез, на которые, вообще говоря, он был чрезвычайно скуп: если не говорить о детских годах, то, кажется, никто и никогда не видел Антона Павловича плачущим.

Для посещения театра нужны были, прежде всего, деньги, а они скудно водились у мальчика. Он копил их из грошей, получаемых на «карманные расходы», для чего приходилось экономить на завтраках, а также прибегал к коммерческим операциям: усердно занимался ловлей щеглов и других певчих птиц, на что был большой мастер и охотник, и продавал их любителям.

Далее, необходимо было заручиться разрешением гимназического начальства на посещение театра, а оно давалось лишь на воскресные и праздничные спектакли. Чтобы обойти затруднение, Чехов прибегал к маскировке: переодевался в штатское платье, а когда кто-то из гимназистов на этом поймался, то есть был узан гимназическим надзирателем, то Чехов стал в иных случаях даже гримироваться, приклеивал себе бороду, надевал очки и т. п. В театр гимназисты забирались спозаранку, чтобы захватить на галерке удобное место (стулья на галерке были нумерованные). Если спектакль шел веселый, то после падения занавеса Антоша, расшавшись, принимался вызывать басом греков-миллионеров, важно восседавших в первом ряду. Евгения Яковлевна, изредка посещавшая театр вместе с сыном, но сидевшая обычно в партере, все-таки узнавала голос своего любимца, пугалась, смущалась, но под-конец весело хохотала вместе с прочей публикой.

Любовь к шутке, невинной проказе, мистификации, с раннего детства присущая Чехову, под влиянием его театральных увлечений обратилась постепенно в склонность к актерской игре. «Играл» он чаще всего у себя дома. Обычно это были комические импровизации, на которые Чехов был неистощим. Изменив голос, интонацию, он изображал то профессора, то афонского монаха, то держал экзамен на дьякона перед архиереем, роль которого исполнял брат Александр. «Вытянув шею, — рассказывает

М. П. Чехов, — которая становилась от этого старчески жилистой, и изменив до неузнаваемости выражение лица, Антон Павлович старческим, дребезжащим голосом, как настоящий деревенский дьячок, должен был пропеть перед братом все икосы, кондаки и богородицы, на все восемь гласов, задыхался при этом от страха перед архиереем, ошибался и в конце-концов все-таки удаивался архиерейской фразы: «Во диаконех еси».

Наиболее частыми «номерами» его импровизации были: изображение градоначальника в церкви в «царский день» или важного чиновника, танцующего кадрили на балу, или зубного врача. Роль пациента исполнял брат Александр. Антон Павлович вооружался щипцами для углей, и начиналась «операция», от которой зрители хохотали до колик в боках. Представление кончалось апофеозом хирургии: врач вытаскивает изо рта режущего пациента пробку и с торжеством показывает ее публике. Иногда, наконец, это были просто комические рассказы, например, о «сотворении мира», когда все смешалось в кучу и коринку нельзя было отличить от изюма и т. д. Антоша был также большой мастер гримироваться. Был случай, когда он оделся нищим и, сочинив жалобное письмо, отправился с ним к своему сердобольному дяде Митрофану Егоровичу, который, прочитав письмо, растрогался и подал племяннику три копейки.

Однако актерская страсть Чехова не могла этим удовлетворяться. Он испытывал живейшую потребность играть в настоящих пьесах и вскоре осуществил свое стремление. Вначале это был домашний спектакль в своей семье: братья Чеховы со своими товарищами разыграли «Ревизора», — Антоша при этом исполнял роль городничего. Спектакль имел успех, актеры осмелели и перенесли работу в дом родителей гимназиста Дросси, где был просторный зал, помещение для уборных и т. д. Репертуар был самый разнообразный: оперетта «Дочь второго полка», пьеса «Ямщики, или шалость гусарского офицера», в которой Антон Павлович играл старуху-старостиху, «Лес» Островского с Чеховым-Несчастливцевым. Наконец, по уве-

рению сверстников Антона Павловича и посетителей этих спектаклей, в ряде случаев ставились обзоры местной жизни, которые сочинял Антон Павлович. К сожалению, ни одно из них не сохранилось: по окончании спектакля автор безжалостно уничтожал свое произведение.

Увлечение Чехова театром побудило его завязать знакомство с актерами, с иными из них довольно близкое, например, с Соловцовым, впоследствии известным актером и режиссером, которому Чехов посвятил свой водевиль «Медведь». Гимназистом старших классов Чехов стал бывать за кулисами, и вообще с этого времени начинается то тесное личное общение его с миром актеров, которое было так характерно для него в течение всей жизни.

Некоторые биографы высказывали мысль, что Чехов и в литературу пришел через театр. Это едва ли так: первые литературные опыты писателя, сведениями о которых мы располагаем, не связаны с театром. Но несомненно, что театр не только усилил тягу Чехова к литературе, но и придал его литературным опытам более серьезный характер.

В очерке М. Андреева-Туркина «Чехов в Таганроге», написанном по воспоминаниям родных и знакомых Антона Павловича и напечатанном в краеведческом сборнике «А. П. Чехов и наш край», мы находим свидетельство гимназического товарища писателя, сидевшего с ним много лет на одной скамье, М. А. Рабиновича, что еще «в четвертом классе Чехов принимает участие в рукописном журнале, издававшемся под редакцией ученика старшего класса Грохольского. Чехов написал для журнала едкое четверостишие на инспектора Д. Яконова. Было выпущено два номера. Начальство пронюхало и «приняло меры».

Далее М. М. Андреев-Туркин сообщает: «В. Мессарош (соученик Чехова по гимназии) говорит, что в издаваемом учениками гимназии журнале «Досуг», вышедшем в числе десяти номеров, под редакторством С. П. Борисенко, Чехов поместил очерк «Из семина-

ской жизни». Другой очерк, «Сцена с натуры», помеченный тремя звездочками, Мессарош также считает принадлежащим Чехову, так как «манера писать напоминает Чехова, и действие в этом очерке происходит на Новом базаре, в торговой линии», то-есть там, где была лавка отца Чехова.

В четвертом классе Чехов был в 1873 году. Таким образом, это и есть указания на самые ранние литературные опыты Чехова. Общая их достоверность не вызывает сомнений, хотя и не исключена возможность ошибок в подробностях и датах.

Но уже от 1875 года мы имеем документальное свидетельство литературных упражнений Чехова: первое сохранившееся письмо Александра Чехова, находившегося в Москве, к брату Антону, гимназисту пятого класса, от 4 октября 1875 года, кончается так: «Спасибо за Занку. Выпускай почаще. Прощай. Твой А. Чехов».

Что скрывается под названием «Заика»?

В 1875 году два старших брата Чехова — Александр и Николай — переехали в Москву, где первый поступил в университет, а второй в Училище живописи, ваяния и зодчества. Оставшийся с семьей в Таганроге, Антон с этого же года стал посылать братьям в Москву рукописный юмористический журнал, который и назывался «Заика». Еще раз упоминается «Заика» в недатированном письме Александра Чехова к брату Антону. Однако ранее 1876 года оно не могло быть написано: в нем встречается имя московского купца Гаврилова, у которого одно время служил Павел Егорович после своего переезда в Москву, переезд же этот совершился в 1876 году. Вот что пишет здесь Александр: «Два №№ Заики получены и оба произвели эффект в магазине Гаврилова. Последний № даже самого Гаврилова Ивана Егоровича 1-ой гильдии Московского купца так сказать расшевелил, так что он умилясь потрепал меня по плечу и сказал: «Да-с, молодой человек».

Таким образом, «Заике» Антон Павлович уделял внимание и время во вся-

ком случае не менее, чем в течение года, — обстоятельство, указывающее на сравнительно крупный масштаб этих литературных опытов юного Чехова. Сопоставляя их с теми, о которых известно со слов его гимназических товарищей, мы приходим к заключению, что к литературе Чехов пришел не через театр, а распространенным и типичным путем — через рукописные ученические журналы. Письмо Александра к Антону от 23 ноября 1877 года свидетельствует, далее, о том, что и те первые свои писания, которые Чехов пытался провести в печать, были также не драматургического рода. «Анекдоты твои пойдут, — пишет Александр Чехов. — Сегодня я отправил в Будильник по почте две твоих остроты: «какой пол преимущественно красится» и «бог дал» (детей). Остальные слабы. Присылай поболее коротеньких и острых. Длинные бесцветны». И только год спустя, в письме Александра к Антону от 14 октября 1878 года, мы находим первое упоминание о драматургическом опыте Чехова. «Ты напоминаешь о «безотцовщине», — пишет Александр. — Я умышленно молчал. Я знаю по себе, как дорого автору его детище, а потому... В безотцовщине две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего мирозерцания. Что твоя драма ложь — ты это сам чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь. Обработка и драматический талант достойны (у тебя собственно) более крупной деятельности и более широких рамок. «Нашла коса на камень» написана превосходным языком и очень характерным для каждого там выведенного лица, но сюжет у тебя очень мелок. Это последнее писание твое я, выдавая для удобства за свое, читал товарищам, людям со вкусом, и между прочим С. Соловьеву, автору «Жених из ножевой линии». Во всех случаях ответ был таков: «Слог прекрасен, уменье существует, но наблюдательности мало и житейского опыта

нет. Современем, *qui sait?* [кто знает?], может выйти дельный писатель».

В каком роде написано было недошедшее до нас произведение «Нашла коса на камень» — мы не знаем. Биографы Чехова много здесь путают, смешивая это произведение с его пьесой «Не даром курица пела», также не сохранившейся, о которой в своих мемуарах упоминает М. П. Чехов, как об очень смешном водевиле, присланном в Москву вместе с драмой «Безотцовщина». Судя по фразе Александра, что «Нашла коса на камень» написана языком, «характерным для каждого там выведенного лица», мы склонны думать, что речь идет здесь не о пьесе, иначе по поводу языка более естественным и органическим было бы выражение: «характерным для каждого действующего лица».

Относительно «Безотцовщины» авторитетный исследователь жизни и творчества Чехова профессор С. Д. Балухатый пришел к заключению, что это и есть та пьеса, которая уже после Октябрьской революции была найдена в Центрархиве и издана без заглавия в 1923 году. Мы в этом не вполне уверены. Но во всяком случае несомненно одно: «Безотцовщина» была очень серьезным литературным опытом Чехова. Это явствует даже из приведенного выше письма Александра: «ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь». А в таком случае мы вправе сделать вывод, что если Чехов и не через театр пришел к литературе, то к серьезной работе он подошел, повидимому, именно через театр.

Рано определившимися литературным наклонностям Чехова соответствует столь же раннее общее литературное развитие. Первое дошедшее до нас письмо Чехова, датированное июлем 1876 г., совершенно в этом смысле поразительно. Оно свидетельствует не только о большой начитанности Антона Павловича, но, главное, о том, что воспринимает он читаемое так, как это было бы под стать профессионалу-критику, а не пятнадцатилетнему юноше. «Хорошо делаешь, если читаешь книги, — обращается он к младшему брату, Михаилу. —

Со временем ты эту привычку оценишь. Мадам Бичер Стоу¹ выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью, и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки... Прочти ты следующие книги: «Дон-Кихот» (полный в 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если они еще не читали, «Дон-Кихот и Гамлет» Тургенева. Ты, брате, не поймешь. Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти «Фрегат Паллада» Гончарова. Товарищи Чехова по гимназии сообщают, что он всегда много читал и порой увлекательно пересказывал прочитанное.

Живого интереса к явлениям политического и общественного порядка гимназист Чехов не проявлял. Вот что, например, сообщает о тогдашнем настроении Чехова его гимназический товарищ д-р Шамкович: «В нашей гимназии в то время, несмотря на расцвет толстовского классицизма и формализма, при полном отсутствии сердечного попечения, было стремление среди учеников искать душу живую. Одна часть ее находила в чувственных удовольствиях, другая — в кружках, где читали Писарева, Бакунина, Герцена. Чехов же не примыкал ни к тем, ни к другим, — держал себя особняком. Единственным его увлечением был театр. Ко всяким общественным течениям того времени он проявлял полный индифферентизм». В полном согласии с этим — свидетельство другого гимназического товарища Чехова, Н. Народина, который, отметив политическое и общественное равнодушие Чехова, вдобавок указывает, что вообще Чехов «был скрытен, замкнут».

Чем можно объяснить отсутствие интереса со стороны юного Чехова к политическим и общественным явлениям жизни?

¹ То-есть книга этой писательницы «Жизнь дяди Тома», известная и поныне, а в те времена особенно популярная.

Главным образом, конечно, средой, из которой он вышел,—глухой, убогой мещанской средой, с узким кругом мелких интересов, с сухим и жестким характером взаимоотношений, с той подозрительной недоверчивостью к людям, какая была характерна для замкнутых крепостей мещанской семьи, с тем эгоизмом, который служил ей первейшим символом веры. В чеховской семье все эти черты выражены были с особенной резкостью, потому что это была неуклонно разоряющаяся торговая семья и притом в городе с падающей экономикой торгового капитала. В мрачной повести «Моя жизнь», где так силен автобиографический элемент, герой ее Полознев со скорбью вспоминает: «У нас в доме часто повторяли: деньги счет любят, копейка рубль бережет». Когда читаешь сохранившиеся письма Александра Чехова к брату Антону времен гимназической поры последнего, то перед глазами разворачивается картина поистине мизерного существования, в центре которого стоит копейка, заслоняющая все горизонты. Письма Антона Павловича той поры почти не сохранились, но и в тех немногих, какие мы имеем, мотив денег очень силен. Вот, например, строки из его письма 1877 года к двоюродному брату: «Дай бог России победить турку с трубкой¹, да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей, тогда я с папашей заживу купцом. Я думаю, что терпеть еще долго будем. Разбогатею, а что разбогатею, так это верно, как дважды два четыре». А одиннадцать лет спустя, в 1888 году, оглядываясь на свое прошлое, Чехов говорит в одном письме: «Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль».

Когда помыслы семнадцатилетнего юноши заняты мечтою разбогатеть, то естественно, что он остается равнодушным к политическим и общественным вопросам, волнующим его сверстников.

О домашнем быте гимназиста Чехова к сказанному выше необходимо до-

бавить, что в 1876 году в строе его произошла резкая перемена: Павел Егорович окончательно разорился и, чтобы не попасть в долговую тюрьму, тайком сбежал в Москву к сыновьям Александру и Николаю; Евгения Яковлевна с другими детьми осталась в Таганроге. За старшего, руководившего всей жизнью семьи, был теперь Антон. Средств никаких не было. То одного, то другого из братьев приходилось по временам отсылать на прокорм к деду в Княжое. Наконец, и дом Чеховых пошел за бесценок в погашение долгов. В июле 1876 года уехала в Москву Евгения Яковлевна с младшими детьми, остались в Таганроге Антон с Иваном. Скорее уехал в Москву и Иван.

Шестнадцатилетний гимназист Антон Чехов остался один в городе. Из Москвы ему ничего не присылали. Напротив, он должен был помогать бедствовавшей семье, распродавая припрятанные у родных и знакомых вещи и отсылая вырученные гроши в Москву.

Как просуществовал Чехов эти три года до окончания гимназии — почти неизвестно: утешая и поддерживая семью бодрыми, обнадеживающими письмами, он избегал сообщать о собственных невзгодах, которые должны были быть нешуточны. Да и письма эти почти все затеряны. Можно лишь с уверенностью сказать, что главным подспорьем служили ему уроки, но что приходилось ему, вероятно, прибегать и к помощи оставшихся в Таганроге родственников, то-есть главным образом дяди Митрофана Егоровича, человека доброго, но еще более, чем отец, пропитанного церковным ханжеством. Летние каникулы Чехов проводил обыкновенно в имении у своего ученика, казака Кравцова, которого Антон Павлович готовил в юнкерское училище. После крайне стесненной и зависимой жизни в этом глухом городе, где еще происходили публичные телесные наказания, где случалось, что на улице похищали девушек для продажи в турецкие гаремы, где все будило в юноше тяжелые воспоминания, — это пребывание в донской степи с ее простором и своеобразием, в первобытной полудикой

¹ В то время происходила русско-турецкая война.

помещицкой семье (она отчасти изображена в рассказе Чехова «Печенеги») было полно для него живого интереса.

Несомненно, во всяком случае, что как ни трудны были эти три года острых материальных лишений, они несравненно более пришлись по душе юноше, чем прежний строй жизни в доме отца. Это заключение вытекает из фактов. Прежде он был обеспечен кровом, пищей и одеждой, тем не менее дважды оставался «второгодником», теперь он стал учиться гораздо лучше, несмотря на то, что должен был сам себя содержать. Затем показательно, что он находит в это время и досуг, и настрояние для литературных занятий, принимающих постепенно серьезный характер. Известно также, со слов его брата, что у Антона Павловича в эти годы неоднократно завязывались юношеские романы, причем они отличались жизнерадостным характером. Наконец, и немногие его письма, уцелевшие от той поры, отличаются также жизнерадостным тоном. Получается впечатление, что, вступив на путь самостоятельной жизни, Чехов почувствовал прилив духовных сил и расправил крылья.

Когда мы обращаемся к творчеству Чехова и пытаемся разглядеть, что и как здесь отразилось из его детских и юношеских лет, то в главных чертах перед нами предстает такая картина.

Воспоминания и впечатления детства в гораздо большей степени отталкивали Чехова, нежели привлекали. В частности, город Таганрог отразился в его творчестве почти сплошь мрачно, в лучшем случае — грустно. Таковы «Огни», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Палата № 6». Места и люди «около-таганрогские» в произведениях Чехова даны в красках несравненно более светлых и радостных. Таковы «Счастье», особенно «Степь»: это места и люди, встречавшиеся Чехову в те светлые дни, когда он вырывался из Таганрога, это его праздники юности. Много лет спустя, в 1898 году, в одном из писем к таганрожцу Иорданову Чехов с умилением и грустью вспоминал об этих вне-таганрогских впечатлениях: «Это фантастический край. Донецкую степь я

люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую бабочку. Когда я вспоминаю про эти бабочки, шахты, аур-могилу и рассказы про Зуя, Харцызца, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен». Именно эти впечатления, легшие в основу «Степи», имел, несомненно, в виду Чехов, когда писал Григоровичу, что на свои мелкие рассказы он их не тратил: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».

Но даже эта ясно выраженная симпатия к местам, где он бывал в детстве, когда вырывался из Таганрога, не сделала его певцом Юга. Передний план в творчестве Чехова заняла средняя подоса России, ее люди и ее пейзажи, Чехов стал «Левитаном в литературе», как называли его нередко. А это значит, что отрадные впечатления времен детства и юности заслонялись в его душе мрачными и скорбными впечатлениями.

Среда, из которой вышел Чехов, — городское мещанство — в его творчестве заклеимена: насмешка, гнев, презрение, в лучшем случае болезненная жалость — вот что неизменно сопровождает в произведениях Чехова фигуры городских мещан.

Наконец, третье, что бросается в глаза в картине творчества Чехова и что, несомненно, связано с его детскими впечатлениями, — это характер огромного большинства его детских фигур. В их нескончаемой галлерее дети счастливые, радостные, даже просто веселые, составляют очень редкое исключение. Большинство детей в произведениях Чехова — это одинокие, незаслуженно обижаемые дети, оскорбляемые именно в детских своих чувствах, преждевременно грустные дети.

Чехов был очень сдержан и скуп, когда дело касалось воспоминаний о его собственном детстве: они были

слишком тяжелы. Тем не менее не только в устных беседах с приятелями, но и в письмах у него иногда прорывалась эта горечь пережитого. В 1889 году в письме к писателю Тихонову Чехов замечает: «Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласки, как нечто непривычное, еще мало пережитое». Тремя годами позже, в письме Чехова к Щеглову, читаем: «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным». Еще годом позднее, в письме к брату Александру, опять: «Детство отравлено у нас ужасами».

Когда на протяжении ряда лет писатель, упоминая о своем детстве, неизменно видит его в мрачном свете, то можно ли сомневаться, что потому-то и в его произведениях детям нелегко живется? Это не значит, разумеется, что Чехов выводит себя и свое детство в образах страдающих и обиженных детей, — он очень был далек от того, чтобы в своем творчестве замкнуться в скорлупу исключительно собственных переживаний. Тут другое: пережитое в детстве сделало Чехова особенно чутким и восприимчивым к тем детским невзгодам, мимо которых взрослые так часто проходят равнодушно.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В августе 1879 года Антон Павлович приехал в Москву и поступил в университет на медицинский факультет.

Почему он остановил свой выбор на этом факультете? Можно предполагать, что некоторую роль сыграл в этом случай, происшедший с Чеховым, когда он находился в пятом классе гимназии. По пути к своему знакомому, у которого в Донской области было небольшое имение, Чехов в жаркий день выкупался в реке, жестоко простудился и заболел. Описанный в «Степи» постоянный двор еврея Моисея Моисеевича, куда привозят заболевшего Егорушку, — страничка из истории болезни самого Чехова. Его привезли в Таганрог, и здесь болезнь приняла настолько грозный оборот, что Антон Павлович был на во-

лосок от смерти, а от некоторых осложнений не избавился до конца жизни. Лечил его в Таганроге гимназический врач Штремпф, учившийся в Дерптском университете. Врач и пациент при этом так сошлись и подружились, что Чехов стал мечтать о медицинском образовании и именно в Дерпте. Первое он осуществил, а от второго пришлось отказаться, так как вся семья его проживала в Москве.

Такова семейная версия причины поступления Чехова в Московский университет. Она в общем правдоподобна. Сам он впоследствии об избрании врачебной карьеры писал так: «о факультетах имел тогда слабое понятие и выбрал медицинский факультет не помню, по каким соображениям, но в выборе потом не раскаивался». Во всяком случае, решение это созрело не мгновенно: в гимназическом списке учеников, получивших аттестат зрелости, в графе: «в какой университет и по какому факультету или в какое высшее специальное училище желаете поступить», против имени Чехова записано: «в Московский университет по медицинскому факультету».

Об университетских занятиях Чехова известно только, что он отдавался им серьезно, с усердием. После гимназии, с ее «человеками в футлярах», молодому Чехову, с его жадным, трезвым и ясным умом, широкое университетское изучение медицинских и естественных наук должно было показаться праздником. Вдобавок и состав профессуры на медицинском факультете был тогда блестящ, — достаточно назвать имена Эрисмана, Склифасовского, Захарьина, Фохта, Остроумова. И несомненно, что если Чехов всю жизнь так ценил науку, отводя ей почетнейшее место в ряду различных родов человеческой деятельности, если не только по своим воззрениям, но и по приемам работы он больше, чем кто бы то ни было из крупных русских писателей, приближался к типу ученого, то прочное начало этому положено было его приобщением к естественным наукам в университете.

Таким образом, в плане чисто учебных интересов и занятий в жизни Че-

хова произошел крутой перелом. Но замечательно, что никакой перемены в характере общественных и политических интересов Чехова переезд его из захолустья в столицу и связь с миром студенчества не произвели: он попрежнему остался на позиции внимательно, но стороннего наблюдателя. «Товарищ он был хороший, — читаем мы в воспоминаниях о Чехове-студенте, — общестуденческой жизнью очень интересовался, часто ходил на собрания и сходки (время тогда — начало 80-х годов — было весьма бурное для студенчества), но активного участия в общественной и политической жизни студенчества не принимал». (Воспоминания д-ра Членова.) Напомним при этом, что годы пребывания Чехова в университете, особенно первые, были бурным временем не только для студенчества: 1879, 1880 и 1881 годы — это момент самой резкой борьбы народовольцев с самодержавием, закончившейся убийством Александра II, — с одной стороны, разгромом революционного движения — с другой. Сотни и тысячи семей, особенно из кругов интеллигенции, были вовлечены в эту борьбу. Молодые люди шли в тюрьмы, в каторгу, на каторжные работы; среди ушедших в революцию были и хорошо знакомые Чехову люди, тем не менее не сохранилось ни малейшего намека на то, чтобы он хоть когда-нибудь вышел из своей позиции пассивного наблюдателя. Более того: ни малейшего отражения политико-общественных моментов в жизни студенчества, хотя бы и самого объективного отражения, мы не обнаружим в произведениях Чехова, созданных им в студенческие годы.

Очень резкие перемены с переездом Чехова в Москву произошли у него в домашнем быту. Явился он в столицу не один, а с двумя гимназическими товарищами: Савельевым и Зембулатовым, которые также поступили на медицинский факультет и поселились у Чеховых в качестве нахлебников. Для семьи это было некоторым подспорьем. Кроме того, Антон Павлович выхлопал себе в Таганроге в городском управлении небольшую стипендию.

Все это было очень кстати: Чеховы сильно бедствовали в Москве. Отец занимал какую-то грошовую должность у богатого купца Гаврилова, в «амбаре» у которого он и ночевал, являясь домой только по праздникам. Дети учились, заработков не было, то-и-дело семью сгоняли с квартир. В момент приезда Антона Павловича Евгения Яковлевна обитала в двенадцатой по счету квартире — в подвальном и сыром этаже церковного дома на Грачевке, из окон которой были видны лишь ноги прохожих. Евгения Яковлевна и дети чувствовали себя угнетенными и заброшенными, не видя впереди никакого просвета.

Не меньшее значение, чем материальное подспорье, имело свежее влияние, вошедшее в семью с появлением Антона Павловича. Само собою вышло, что он сразу занял здесь положение главы: отец почти всегда отсутствовал, да и престиж его давно поубавился; мать, нежная, мягкая, привыкла подчиняться, а не руководить; не годился в руководители и брат Николай по складу своей натуры, доброй, но совершенно безвольной и импульсивной; брат Александр жил отдельно от семьи. Остальные дети были еще малы. Антона все любили, ему обрадовались, он сразу оживил всех своим веселым юмором. Вокруг него завязались новые знакомства, в семье Чеховых появилась талантливая молодежь, здесь часто пели, играли, спорили, хохотали, и в недавно еще унылой семье сделалось так шумно, что... снова пришлось переместить квартиру: причт церкви Николы Драчи не выдержал и потребовал очистить подвал. Чеховы переехали по той же улице, заслуженно пользовавшейся в Москве самой незавидной репутацией. в квартиру из пяти комнат, в дом Савицкого. Жизнь обитательниц этой улицы, проституток, населявших многочисленные дома терпимости, дала Чехову позднее материал для его «Припадка».

И вот девятнадцатилетний студент-первокурсник в труднейших условиях становится главою большой семьи, выполняя затем эту обязанность длинный ряд лет, пока распалась самая семья.

Он был очень неопытен и даже прямо беспомощен, но он не растерялся. И когда внимательно изучаешь материалы его жизни, то постепенно выясняется, что у Чехова был какой-то твердый и определенный принцип, которым он руководился в этом сложном и трудном положении. В чем этот принцип состоял, мы поймем из нескольких строк в воспоминаниях М. П. Чехова. Нередко преувеличивая сущие пустяки и подробно распространяясь о разных анекдотических эпизодах из жизни Антона Павловича и его окружения, М. П. Чехов, явно не придавая слишком большого значения тому, что он пишет, лаконически сообщает: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и т. д.

Вот это в мещанской семье Чеховых и было новым принципом: утверждение человеческого достоинства, с которым несовместимы ложь и несправедливость. С уверенностью можно сказать, что протест против стихии мещанства зародился и созрел в душе Чехова, когда он еще был гимназистом, что там же, когда он был предоставлен самому себе, это оформилось у него в твердый принцип оберегания человеческого достоинства, смысл и значение которого не сразу был понят даже близкими ему людьми. Еще за три года до приезда в Москву он, получив письмо от брата Михаила, который был моложе его на пять лет, отвечает (это первое дошедшее до нас письмо Чехова): «Почерк у тебя хорош и во всем письме я не нашел у тебя ни единой грамматической ошибки. Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь, где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай,

что честный малый не ничтожность».

Этот прекрасный урок человеческого достоинства был прочитан шестнадцатилетним братом одиннадцатилетнему. Но такой же урок спустя несколько месяцев Антон дал и старшему брату, студенту Александру, которому в то время был уже двадцать один год. В январе 1886 года, поздравляя Антона Павловича с рождением и именинами, он вспоминает, между прочим, о первом приезде гимназиста Антона в Москву на праздник (в конце 1876 г.) и пишет: «Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по тогдашнему возрасту важно ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покорибл тебя. Ты со сдержанным упреком сказал мне: «Ты все еще такой же ашара (бездельник), как и был». Я не понял тогда и принял это за похвалу».

По этим замечаниям братьев Чеховых, — Михаила о том, что выражения «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» прозвучали в их семье чем-то совершенно новым и непривычным, и Александра, который даже не понял реакции Антона на его грубую выходку в отношении старухи, — по этим замечаниям не трудно понять, какой дух царствовал в семье Чеховых, какую резкую перемену внес в нее Антон Павлович и какая большая работа совершалась в нем в течение трех лет его одинокого жительства в Таганроге.

Много лет позднее, в 1889 году, в знаменитом письме к Суворину, которое по справедливости стоит в центре всех биографий Чехова, он набросал поразительную картину этой внутренней, скрытой, но могучей работы: «Напиши-те-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок

хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...».

Таким образом, Чехов сознательно поставил себе цель, достижение которой считал важнейшим делом жизни, — искоренить в себе мещанина. Средством же для достижения этой цели он избрал упорное перевоспитание самого себя.

Законно поставить вопрос: почему, вступая в борьбу с мещанством, Чехов избрал путь индивидуалиста-одиночки? Почему он не примкнул к общественно-политическому движению студенчества?

Причины могли быть и, несомненно, были весьма сложны. Но, во всяком случае, одной из причин было то, что конкретные представители передовых идей в той среде, где вращался Чехов, ему не импонировали. Люди прогрессивных взглядов представлялись ему зараженными теми самыми пороками, как и все прочие. Чехов же отказывался рассматривать человека порознь — со стороны его взглядов и со стороны его поступков. Если поступки, «дела» человека расходились с его взглядами, то в глазах Чехова теряли свою цену и последние, превращаясь в своего рода ширму для лицемерия. В 1888 году он, в письме к Плещееву, говорит об этом в очень определенных выражениях: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским [либеральные журналисты того времени]. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым и ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и яр-

лык я считаю предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Когда писались эти строки, у Чехова за спиной было уже десять без малого лет литературной работы.

Точно приурочить начало его литературной деятельности к определенной дате очень трудно и едва ли даже возможно: как мы выше видели, еще в гимназии, во всяком случае не позднее 1875 года, он самостоятельно составляет журнал «Заика», посылая его братьям в Москву, а затем направляет туда же разного рода произведения, из которых иные Александр Чехов отсылает в журнал «Будильник». Возможно, что кое-что и было там напечатано, — установить это до сих пор не удалось. и, таким образом, нельзя с уверенностью говорить не только о том, когда Чехов начал писать для печати, но даже и о том, когда появились его первые печатные строки. Сам он на этот счет давал крайне сбивчивые указания: то «писать начал в 1879 г.», то «начал писать в 1880 году», а в одном случае он с полной определенностью указывал: «24 декабря [1888 года] я праздную 10-летний юбилей своей литературной деятельности», из чего с несомненностью вытекало, что дебют Чехова состоялся 24 декабря 1878 года. Это не помешало Антону Павловичу впоследствии написать: «Первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте или апреле 1880 г. в «Стрекозе». Действительно: поиски чеховского произведения в номерах газет и журналов, датированных 24 декабря 1878 года, до сих пор были безрезультатны. С другой стороны, в «Стрекозе» за 1880 год, в № 10, датированном 9 марта, т.-е. вполне согласно с указанием Чехова, было обнаружено его произведе-

дение, но это не «безделушка в 10—15 строк», а довольно большой очерк, размером в 4—5 страниц.

Есть все основания полагать, что Чехов начал печататься не позже 1878 года. Вероятно, его первое произведение было заметкой в несколько строк. Но точно установить ее — задача будущего, а пока литературным дебютом Антона Павловича считается очерк из № 10 «Стрекозы» за 1880 г., название которого: «Письмо Донского помещика Степана Владимировича к ученому соседу д-ру Фридриху». Подписано оно так: «... вь». В том же номере помещено второе произведение Чехова: «Что чаще встречается в романах, повестях и т. п.», подписанное «Антоша».

Обе эти вещи — однородны. Первая является пародией на глубокомысленные рассуждения самоуверенного, но ограниченного и невежественного человека. Заметка «Что чаще встречается в романах, повестях и т. п.» — насмешливое перечисление избитых и пошлых литературных приемов.

Характер литературного дебюта Чехова тем более заслуживает внимания, что он не был случаен: в том же 1880 году он поместил в «Стрекозе» еще два очерка — «Каникулярные работы институтки Наденьки N» и «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», также являющиеся пародиями: первый — на ученические работы, второй — на литературную манеру Виктора Гюго, которому, между прочим, очерк иронически посвящен. Таким образом, из девяти вещей Чехова, напечатанных в первый год его литературной деятельности, почти половина приходится на пародию или нечто, ей родственное. В истории литературы это, кажется, единственный случай, когда деятельность крупного писателя начинается с литературной пародии. Во всяком случае это обстоятельство свидетельствует о большом внимании начинающего писателя к литературной форме, но также и о том, что глубоко волнующих тем или вопросов перед Чеховым в то время не стояло: иначе они непременно прорвались бы в первых же его вещах, что обычно

и наблюдается в произведениях начинающих писателей.

Воспоминания близких Чехову людей подтверждают, что когда Антон Павлович делал свои первые литературные шаги, то едва ли им руководила потребность «высказаться». Дело было проще: семья испытывала сильнейшую нужду, каждая копейка была на учете. Старший брат Александр, живший отдельно, уже подрабатывал кое-что, сотруничая в мелкой прессе, преимущественно в юмористической. По этой проторенной дорожке в поисках заработка направился и Антон Павлович, еще в гимназии с успехом упражнявшийся в писании то водевилей, то смешных сценок.

Печатанье в «Стрекозе» юмористических очерков и сценок удовлетворяло с детских лет обозначившуюся потребность Чехова создать смешное и в то же время доставляло заработок, что было очень для него важно. Естественно, что, испытав первую удачу, он с усердием стал писать и посылать в журнал всевозможную юмористику. Но тут же ему довелось испытать и первые разочарования. В почтовом ящике «Стрекозы» то-и-дело стали появляться такие обращения редакции по адресу Чехова:

«Ужасный сон» только тем и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы».

«Несколько строк не искупают непроходимо пустого словотолчения. Мы говорим о «Ничего не начинай».

«Очень длинно и бесцветно; нечто в роде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой».

«Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу».

Сейчас эти характеристики чеховских юмористических вещей производят впечатление полной нелепости. Ведь с именем Чехова у нас прочно связано представление о поразительном литературном мастерстве, первой особенностью которого является непревзойденная сжатость, краткость и выразительность. И вдруг: «очень длинно и бесцветно», «пустое словотолчение» и т. д. Биографы и почитатели Чехова

не раз об'ясняли это противоречие попросту тем, что-де в редакции «Стрекозы» сидели тупые и невежественные люди, лишенные малейшего литературного чутья.

Однако это не совсем так: в первые годы своей литературной деятельности Чехов действительно написал множество крайне слабых вещей. Для читателей и даже для некоторых его критиков и биографов это долго оставалось неизвестным, потому что, подготавливая издание первого полного собрания своих сочинений, Чехов в конце 90-х годов произвел очень строгий их отбор. Явно неудачные он при этом совершенно забраковал и отбросил. Остальные, прежде, чем включить в собрание, заново и тщательно отредактировал. Вот по этому отфильтрованному лучшему, да еще улучшенному мастером в пору его полной зрелости, и составили себе читатели, критики и биографы представление о Чехове. Таким образом, из поля их зрения выпало все то слабое, что было им создано в первые годы, и естественно, что приведенные выше характеристики должны были казаться им чудовищными.

Впрочем, и впоследствии, когда было разыскано в старых журналах и включено в полное собрание сочинений Чехова решительно все, что было им когда-либо напечатано, самые слабые вещи Чехова остались все-таки неизвестны: забракованные в редакциях юмористических журналов, они, за редкими исключениями, там и погибли. Например, в почтовом ящике «Стрекозы» перечислен ряд отвергнутых произведений Чехова: «Прощение», «Ужасный сон», «Легенда», «Портрет». Ни одно из них никогда не увидело света, — вероятно, Чехов и не пытался пристроить их в другие журналы.

Но даже среди напечатанных произведений Чехова, не включенных им в полное собрание сочинений, многие до такой степени слабы, что резкие характеристики «Стрекозы» были бы и по отношению к ним не совсем несправедливы. Вот несколько строк из очерка «За яблочки», напечатанного в первый год литературной деятельности Чехова:

«Между Понтом Эвксинским и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей». Или из того же рассказа: «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная-таки скотина».

Ничем иным, как словотолчением, это и нельзя назвать, и несомненно, что когда Чехов созрел, его приговор над подобного рода произведениями был чрезвычайно суров, — недаром в свое собрание сочинений он не включил ни единой строки из всей продукции первых лет своей деятельности. Более того, и в молодые годы Антон Павлович не склонен был давать преувеличенную оценку своим очеркам и сценкам и едва ли чрезмерно обижался на «Стрекозу» за ее шпильки. Но все же приведенная выше общая пессимистическая оценка его работы, «Не расцвев, увядаете» и т. д., повидимому, уязвила Чехова: она была напечатана в номере пятьдесят первом «Стрекозы» за 1880 год, и после этого мы уже не находим его вещей в названном журнале. Верное самочувствие подсказывало молодому автору, что если отдельные его вещи и плохи, если редакция права, отвергая их, то в своей общей оценке она заблуждается.

В деятельности Антона Павловича наступает перерыв, тянувшийся полгода, а затем он находит для своих произведений новое место: юмористические журналы «Будильник» и «Зритель». Впрочем, и 1881 год — второй в литературной деятельности Чехова — был малоплодовит: тринадцать произведений небольшого размера. Но уже в следующем, 1882, году продукция резко возрастает: тридцать два произведения, из коих три крупных по размеру: «Ненуж-

ная победа», «Живой товар» и «Цветы запоздалые».

Вообще 1882 год должен быть отмечен как первый год настоящей и довольно напряженной работы начинающего писателя. С этого же года начинается его сотрудничество в лучшем по тогдашнему времени юмористическом петербургском журнале «Осколки», редактором которого был Лейкин, писатель-юморист, не лишенный дарования, но малокультурный и очень прижимистый человек. Как редактор он обладал драгоценным свойством: жадно выуживать отовсюду способных сотрудников и цепко за них держаться. Когда приятель Чехова по мелкой московской прессе поэт Пальмин, раньше всех учувший незаурядное дарование Антона Павловича, указал на него Лейкину, последний с обычной своей цепкостью за него ухватился. Он сразу распознал, что в молодом студенте-медики, охотно доставляющем юмористическим журналам сколько угодно и любых размеров очерки на какую угодно тему, есть что-то отличающее его от других поставщиков несприятельного увеселительного чтения. В самом конце 1882 года Чехов выступил в его журнале, и тотчас же Лейкин пустил в ход все старания, чтобы прочно привязать молодой талант к «Осколкам» и выжать из него все, что возможно. Результаты не замедлили сказаться: на 1883 год падает сто двадцать произведений Чехова, из коих восемьдесят пять появились в «Осколках»; еще резче эта пропорция в сторону «Осколков» в следующем (последнем студенческом) году: из ста двух произведений только двадцать три прошли мимо Лейкина, да и то часть из них не подходила по размерам для его журнала. Дело нередко доходило до того, что Чехов бывал вынужден оправдываться перед Лейкиным, если помещал рассказ не в его журнале. Впрочем, он этим и не тяготился: он считал сотрудничество в «Осколках» большим своим успехом, принимал к сердцу интересы журнала, оживленно и с видимой охотой обменивался письмами с Лейкиным (это была первая переписка Чехова с настоящим писателем), к его

советам и замечаниям относился со вниманием. Впоследствии Лейкин приписывал себе честь «открытия» Чехова: «Как писателя, Чехова я отыскал», — писал он. Это конечно, неверно, честь эта принадлежит по справедливости Пальмину. Но верно то, что в истории литературного развития Чехова Лейкин и «Осколки» занимают определенное место; недаром Чехов писал к Лейкину в 1887 году: «Осколки» — моя купель, а Вы — мой крестный батька».

Требования редактора к его новому сотруднику были несложны: Чехов должен был писать только в юмористическом роде и непременно коротко, а о чем — это было для Лейкина безразлично. Не прошло и нескольких месяцев работы Чехова в «Осколках», как Лейкин создал для него новый и специальный отдел: «Осколки московской жизни». Это были чисто публицистические обзоры, где в легкой, непритязательной форме сообщалось о разного рода эпизодах, фактах и событиях из жизни столицы. Чехов начал эти обзоры с июля 1883 года и вел их затем почти до конца 1885 года. В результате в течение ряда лет редкий номер «Осколков» не заключал в себе того или иного произведения Антона Павловича, а во многих номерах их появлялось сразу по два, по три.

С произведениями покрупнее Чехов обращался в другие органы: в «Будильник», в газету «Новости дня», где он поместил, между прочим, одно из самых больших своих произведений — «Драма на охоте», в «Мирской толк», «Москву», «Свет и тени», «Развлечение» и т. д. После того как Чехов сделался постоянным сотрудником «Осколков», его охотно стали печатать во всех органах мелкой прессы. Ревнивый Лейкин и тут постарался не выпустить Чехова из сферы своего влияния и устроил его сотрудником в «Петербургской газете», с редактором которой находился в приятельских отношениях.

И вот в ряде газет и журналов замелькали рассказы, очерки, анекдоты, сценки, обзоры, а то даже целые отделы под различными заглавиями: «О том, о сем», «Комары и мухи», «Фин-

тифлюшки», подписи под всем этим были также разнообразны: «Чехонте», «Антоша», «Антоша Ч.», «Г. Балдастов», «Человек без селезенки», «Брат моего брата» (намек на Александра Чехова, ранее Антона Павловича вступившего в ту же прессу), «Рувер», «Улисс» (последние два специально для «Осколков московской жизни») и т. д. Если притом вспомнить, что, печатая в год по сто и более вещей, Чехов продолжал с усердием учиться на медицинском факультете — наиболее, пожалуй, трудоемком из факультетов, — то нельзя будет не признать его литературную производительность поистине сверхъестественной. Она, несомненно, выходила далеко за пределы его внутренней потребности в юмористическом творчестве и диктовалась в некоторой степени настойчивостью Лейкина, а еще более — нуждой.

Из нее Чехов не мог выбиться даже при этой чудовищной производительности, что и немудрено: гонорар за свои рассказы он получал поистине нищенский, обычно пять копеек со строки, восемь — уже хорошо. Таким образом, за рассказ, который по условиям с Лейкиным не должен был превышать ста строк, Чехов получал от трех до пяти рублей. Покойный биограф Чехова Измайлов, в распоряжении которого были подлинные листы из конторских книг «Осколков», произвел подсчет заработка Антона Павловича за целый 1886 год. Оказалось, что за сорок девять произведений Чехов получил всего шестьсот сорок два рубля сорок восемь копеек. А между тем он в то время уже пользовался известностью, быстро входил в моду, а в числе указанных сорока девяти произведений находились такие шедевры, как «Анюта», «Аптекарьша», «Муж», «Длинный язык», «Оратор», «Произведение искусства» и т. д. «Осколки» хоть платили аккуратно своим сотрудникам, во всех же других журналах гонорар приходилось вымалывать, выплачивали его по рублю, по три, нередко вместо денег сотрудникам предлагались даровые билеты в театр или записки к портному на получение пары брюк. Антон Павлович, чтоб не терять

много времени на получение гонорара, выдал своему младшему брату доверенность, с которой тот и обходил чуть что не ежедневно все журналы, проводя иной раз в конторе целые часы в ожидании, пока разносчики, торговавшие в розницу газетами и журналами, приносили свою выручку. Доверенность эта, составленная в форме забавного «медицинского свидетельства», сохранилась до наших дней.

Повидимому, материальная нужда, от которой Чехова не могла освободить самая напряженная работа, послужила камнем преткновения при попытке молодого писателя издать первый сборник своих произведений. Дело это было им задумано в 1883 году. Для сборника он подобрал двенадцать своих произведений, брат Антона Павловича, Николай, талантливый художник, изготовил целый ряд рисунков, иллюстрирующих текст, придумано было и название: «На досуге». Но, повидимому, у автора не хватило денег для расплаты с типографией, которая, изготовив первые семь листов книги, прекратила работу над сборником. От него уцелел только один комплект этих семи листов, в настоящее время хранящийся в Московском литературном музее.

Спустя год Чехов повторил попытку, на этот раз с успехом: в 1884 году выходит первый сборник его произведений, названный автором «Сказки Мельпомены», — шесть рассказов из жизни театральных людей. Характерно, что, хотя все рассказы написаны были Чеховым незадолго до этого, он для отдельного издания заново и тщательно их отредактировал. Сборник получился небольшой, в девяносто шесть страниц, стоимостью в шестьдесят копеек, но и его Чехову пришлось напечатать в кредит с рассрочкой уплаты за типографские расходы в течение четырех месяцев. Анонс о выходе сборника гласил: «Антоша Чехонте. Сказки Мельпомены. Ц. 60 к. Книгопродавцам скидка. Приятелям gratis [бесплатно]».

Еще в начале 1883 года Чехов в письме к брату Александру сообщал: «Становлюсь популярным и уже читал на себя критики». Несмотря на то, что

о критике здесь говорится во множественном числе, до сих пор не удалось найти ни одного отзыва той поры о произведениях Чехова. Не исключено, впрочем, что Антон Павлович имеет здесь в виду критику в частных письмах — хотя бы того же Лейкина. Картина сразу меняется с выходом в свет «Сказок Мельпомены». Об этом сборнике отзывы появились не только в газетах (в «Новороссийском телеграфе», в «Новом времени»), но и в журналах: «Театральном мире» и в ежемесячном журнале «Наблюдатель», в отзыве которого сказано: «Написаны рассказы недурно, читаются легко; содержание их и выведенные в них типы близки к действительной жизни». Наиболее метким и значительным был отзыв «Новороссийского телеграфа» в заметке, подписанной «Яго». Под этим псевдонимом скрывался П. А. Сергеенко, товарищ Чехова по гимназии. «Книга очень интересная, — писал он, — ... рассказы А. Чехонте живьем вырваны из артистического мира. Все они небольшие, читаются легко, свободно и с невольной улыбкой. Написаны с диккенсовским юмором: и смешно, и за душу хватает...» и т. д.

В обширной литературе, посвященной Чехову, неоднократно ставился вопрос, кому принадлежит честь первого указания, что в Антоше Чехонте, молодом авторе смешных пустячков, таится громадный талант. Эту честь приписывали многим: Григоровичу, Суворину, тому же Сергеенко. Выше мы видели, что приятель Чехова, поэт Пальмин, еще в конце 1882 года отметил дарование Антона Павловича и рекомендовал его Лейкину. Пальмин писал тогда Чехову: «Читал некоторые ваши хорошенькие остроумные вещицы, на которые обратил внимание среди действительно бездарной, бесцветной и жидкой бурды московской». Мы знаем, что еще в 1878 году писатель С. Соловьев, прочитав присланные Чеховым-гимназистом произведения, сказал: «Со временем, кто знает, может выйти дельный писатель». В мае 1883 года в частном письме к Чехову сотрудник юмористических журналов Сушков писал: «В недалгое время

Вы своими трудами очень выдались из числа рядовых литературных тружеников и рабочих. Стали, без сомнения, известны в редакциях как молодой, даровитый и многообещающий в будущем писатель». Когда Чехов в конце 1879 года послал в «Стрекозу» свое «Письмо Донского помещика...», то редакция в почтовом ящике живо откликнулась: «Совсем не дурно. Присланное поместим, благословяем на дальнейшее подвижничество». Со стороны Лейкина также не было недостатка в поощрительных отзывах по адресу начинающего писателя.

Как видим, целый ряд лиц как будто имеет право претендовать на честь предсказателя славы Чехова. В действительности это не совсем так: общий тон почти всех приведенных отзывов имеет либо гадательный характер, либо «сравнительный»: на фоне бездарности других — Чехов выделяется. По-настоящему, членораздельно и смело предсказал Чехову славу писатель Григорович в письме, речь о котором будет ниже, но письмо это было написано только в 1886 году. Быть может, недостаточно внимания уделили биографы Чехова его письму к брату Александру от октября 1883 года, где Антон Павлович сообщает о своей встрече с Лесковым, называя его своим любимым писателем. Описывая разговор с полупьяным Лесковым, Чехов приводит дословно, в кавычках, следующую фразу последнего: «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида. Пиши».

Если учесть, что Лесков знал себе цену, то, отвлекшись от своеобразной формы приведенной тирады, ее придется признать первым по времени смелым предсказанием будущего значения Чехова. В октябре 1883 года общий колорит того, что Чеховым было написано, нельзя назвать иначе, как серым. Впрочем, Лесков едва ли и мог знать все, что было к тому времени напечатано Чеховым: все это было разбросано по мелким органам и печаталось под множеством псевдонимов. Всего вероятнее, что свое суждение о таланте молодого писателя он составил по его нескольким удачным последним вещи-

цам — «Загадочная натура», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона». «Ошибка», «Толстый и тонкий».

Надо, однако, прямо сказать, что эти жемчужины составляют незначительный процент в сумме того, что создавалось тогда Чеховым. Следующий год, 1884, он же и последний университетский год Чехова, уже гораздо богаче блестящими миниатюрами. Здесь мы находим «Орден», «Жалобную книгу», «Экзамен на чин», «Хирургию», «Хамелеон». «Надлежащие меры». «Винт», «Маску» и т. д. Но все же количество неудачных вещей явно преобладает. В частности, в этом году Чехов печатает в газете «Новости дня» большое произведение, роман «Драма на охоте», лишь местами поднимающийся над уровнем типичной газетной беллетристики, зато изобилующий чрезвычайно безвкусными страшицами.

Когда из-под пера писателя одновременно выходят шедевры и вещи ничтожные, то, как правило, это указывает на какие-то искривления в процессе его роста, обусловленные неблагоприятными обстоятельствами. Это ясно говорит о том, что талант писателя уже созрел до возможности давать подлинное искусство, но что в машину этого таланта то-и-дело попадает песок и портит ее работу.

В студенческие годы Чехова это было именно так. Целый ряд неблагоприятных обстоятельств задерживал и портил рост этого громадного таланта. Прежде всего, надобно напомнить, что когда Чехов складывался как писатель, в начале 80-х годов, Россия вступила в полосу глухой общественной реакции, отравлявшей жизнь трусостью, цинизмом, подхалимством, предательством, шовинизмом. Притом непосредственное окружение Чехова составляла та мелкая третьесортная газетно-журнальная среда, которая особенно «чутко» воспринимает перемены политической погоды, мгновенно перекрашиваясь и оплевывая свой вчерашний день. Характеристику этой среды, исполненную скорби и отчаяния, мы находим в письме Чехова

к брату Александру от 1883 года: «Я, брат, столько потерпел и столь возненавидел, что желал бы, чтобы ты отрекся от имени, которое носят уткины и кичевы (Чехов употребляет здесь в нарицательном смысле имена типичных деятелей мелкой прессы). Газетчик, значит, по меньшей мере жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походять на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя».

Крайне тяжело отзывалось на росте дарования Чехова вынуждаемое бедностью чудовищное многописание. Превратясь в машину, фабрикующую чуть что не ежедневно по рассказу, Чехов, естественно, не мог уделять этой работе того внимания и той любви, каких требует серьезное творчество. Более того, он не мог и уважать свою работу, чего Антон Павлович и не скрывал: вскоре, в 1886 году, он прямо так и скажет в письме к Григоровичу. «Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря». И как характерно в этом отношении начало его письма к Лейкину от 1884 года: «Шлю вам свои литературные экскременты в воскресенье». Это, конечно, шутка. Но пройдет несколько лет, и такие шутки станут невозможны у Чехова.

Несомненно, вредное влияние на развитие его таланта оказывало непреклонное требование Лейкина, чтобы все, присылаемое Чеховым, было юмористично. Оно срезало побеги всяких иных настроений и стремлений молодого писателя — грустных, негодующих, лирических и т. д. А они были у Чехова, и эта необходимость во что бы то ни стало «смеяться» по любому поводу удручала его уже издавна. Получив от Лейкина замечание, что присланные ему рассказы «Верб» и «Вор» недостаточно юмористичны, Чехов пишет: «Правду сказать, трудно за юмором угоняться. Иной раз погонишься за юмором, да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет».

(Продолжение следует)